

# Вдовий пароход



И. Грекова

# ВДОВИЙ ПАРОХОД

*ФТМ*

УДК 82/821  
ББК 84(0)  
Г80

**Грекова, И.**

Г80      Вдовый пароход / И. Грекова. – М. : T8RUGRAM /  
Агентство ФТМ, 2018. – 490 с.

ISBN 978-5-521-74419-0

«Ничего я не знаю, не умею. И всё же это была работа, а работать было необходимо, чтобы жить. А жить надо было непременно, неизвестно для чего, но надо! Никогда ещё я не была так жадна на жизнь. Меня радовал, меня страстно интересовал мир со всеми своими подробностями: лиловым асфальтом улиц, бегучими дымами в небе, зелёной прошлогодней травой, лезущей из-под грязного снега грубым символом бессмертия...»

*Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.*

УДК 82/821  
ББК 84(0)  
ВІС FC  
BISAC FIC000000

© T8RUGRAM, 2018  
© ООО «Агентство ФТМ,  
Лтд.», 2018  
© Текст. И. Грекова,  
наследники, 2018

ISBN 978-5-521-74419-0

# ВДОВИЙ ПАРОХОД

Мой муж был убит на фронте в самом начале войны. Мы оставались в Москве. «Мы» — это я, моя мать-старушка почти без ног и моя дочь Наташа четырнадцати лет. Какое-то оцепенение помешало мне действовать. Эвакуироваться вовремя мы не успели, а потом, в суматохе, было уже поздно. Впрочем, мне предложили одно место в машине, отъезжавшей на восток со двора незнакомого учреждения; все спешили, по воздуху летали документы из какого-то развешанного архива. Одно место? Разумеется, я отказалась. Потом заколебалась: «Отправить Наташу?» — и сразу же: «Нет, не отдам». Машина уехала. Обо всем этом я рассказала дома, сомневаясь в правильности своего решения. «Все верно, сказала мама, — погибать, так вместе». Она вообще бодрилась, была суха, подобрана, много вязала, шевеля спицами где-то у самого уха и летящими губами считая петли. Наташа, та вообще ничего не понимала, пела по утрам, завязывая банты перед зеркалом; меня ужасало, как легко она пережила смерть отца. Теперь я понимаю, что для нее вообще жизнь была нереальной, а тогда мне подчас хотелось ее ударить.

Одним словом, мы остались на месте, так было легче ничего не предпринимать. Жили как бы по-старому в нашем старом доме, в старой квартире с высокими закругленными окнами, выходившими во двор, где мирно висело разноцветное белье и какая-то нежная

провинциальность оплетала плющом балконы. Работы у меня не было. Я продавала на барахолке кое-какие вещи и тут же покупала или выменивала кое-какую еду. Осень шествовала вперед, уже по утрам руки покусывало морозом, плющ побагровел и усох. Жизнь формировалась, в городе восстанавливался порядок, пошатнувшийся было в дни поспешной эвакуации. Выдавали карточки, заботились о затемнении, мальчишки искали шпионов, сигналивших врагу с чердаков вспышками света. Я сама однажды видела такую вспышку, мигавшую ярко и загадочно. В магазинах иногда появлялись ненормированные продукты, странные, например крабы и шампанское. За ними выстраивались очереди. Люди посмеивались: за чем стоим? Одну такую очередь я выстояла, после этого мы всю ночь ели крабов и пили шампанское, а Наташа тренькала на гитаре. В этом ночном празднестве было что-то глубоко нечестивое. Время от времени налетали немецкие самолеты, их я не боялась, я вообще ничего не боялась, была как-то уверена, что худшее в нашей семье уже произошло и ничего больше произойти не может. К тому же налеты случались сравнительно редко и их последствия на огромном лице города были почти незаметны. Развалины убирались, и на их месте быстро разбивался сквер. В городе властвовали аэростаты заграждения — гигантские колбасы, днем ведомые под уздцы девушками в военной форме, а вечером поднимавшиеся сторожами в чуткое небо. В их пузатом спокойствии было что-то надежное: спите, люди. Голос из репродуктора, привычно скандировавший знакомые слова:

«Граждане, воздушная тревога», уже не пугал, мы под него не спеша одевались. Бомбоубежище было не в нашем доме, а в соседнем, через двор, мне все казалось, что мы занимаем в нем чье-то чужое место. А мама беспомощна, и таскать ее туда было мученьем. Да что долго объяснять! Так или иначе, в убежище мы ходить перестали.

Однажды поздно вечером после отбоя вновь объявили тревогу. Наташа подняла голову с подушки и сказала с досадой: «Мама, опять тревога? Ух как они мне надоели!» — а я ответила: «Ничего-ничего, спи, доченька». Это были последние слова, которые мы друг другу сказали, потому что как раз в эту ночь наш дом был разрушен бомбой. Мама и Наташа погибли, а я — нет. Как говорится, чудом уцелела. Чудом ли? Скорее это было одно из тех обратных чудес, чудес зла, автор которых — сам дьявол. У меня был перелом позвоночника, ноги и обеих рук. Как ни странно, я была в сознании. Помню тяжесть навалившегося кирпича, какую-то дверь, косо и страшно вставшую надо мной, мысль: «Мама? Наташа?» — мысль: «Конец». Когда меня вытаскивали, я кричала: «Осторожнее!» — потому что берегла руки.

Потом был промежуток полного беспамятства. Первым ощущением, которое я осознала, была непомерная тяжесть, именно тяжесть, а не боль. Мне представлялось, что это все еще был кирпич, который почему-то не разбирали. Только много позже я поняла, что это был не кирпич, а гипс. Он окружал меня со всех сторон, я была в нем замурована, заключена. Кроме тяжести, я ничего не чувствовала. Я была слепа. Меня окружа-

ла темнота, не безлично серая, а огненно-черная, что могло означать одно: я слепа. В черноте иногда вспыхивали искры, звездообразные взрывы света. Они были подвижны и катились всегда в одну сторону. В какую-то минуту я раскрыла губы и сказала: «Мама? Наташа?» — но ничего не услышала. Я была глуха.

Так, в глухой темноте шло для меня время без времени, отмечаемое только сверканьем катящихся искр; они появлялись через регулярные промежутки, измерить которые я не могла, знала только, что они регулярны и образуют четкий рисунчатый ритм. Искры сами по себе были очень красивы, они чем-то напоминали живых существ, может быть морских звезд, по неумолимость, с какой они катились всегда в одну сторону, была не от живого мира.

Зрение вернулось ко мне раньше, чем слух. Через некоторое неопределенное, но очень долгое время я увидела свет. Он брезжил, колеблясь и как бы сомневаясь, в водянисто-серой комнате, похожей на аквариум, потому что в воздухе-воде над моим лицом висела большая белая рыба. Я открыла рот, чтобы сказать все то же: «Мама? Наташа?» — и опять ничего не услышала. Белая рыба встрепелулась, махнула хвостом и на большой скорости промчалась мимо. Вместо нее появилась другая, но оказалось, что это не рыба, а белая косынка медицинской сестры. Под косынкой на бледно-желтоватом, слегка отечном лице светились внимательным удивлением большие глаза. «Значит, я в больнице и не слепа», — подумала я и посмотрела вдоль себя в сторону ног. На койке лежало

нечто белое, очень большое, что по занимаемому месту должно было быть мной, но не было, а ощущалось, как посторонняя тупая тяжесть. Мне вливали в рот что-то теплое, не имевшее вкуса.

Сознание возвращалось ко мне постепенно, но не равномерно, а толчками. Несколько позже света стал возникать звук, тоже искрами, взрывами, вначале болезненными. Однажды я открыла глаза и увидела, что возле меня сидит моя подруга и плачет. Плач был громкий и напоминал икание. «Мама? Наташа?» — спросила я и услышала собственный голос, резкий, как крик. Моя подруга ничего не ответила, но по ее лицу я поняла, что они погибли. Я была вся в гипсе, с ног до головы, и не могла ни биться, ни двигать руками, ни себя уничтожить. Опять мне что-то вливали в рот. Вернулись беспомощность, чернота. Кажется, я заклинала ее стать вечной. Сознание приходило, мигало и пропадало опять. Душевная боль не была постоянной, она возникала взрывами и тогда была нестерпима — казалось, что она разорвет изнутри гипс.

После того я еще год провела в больнице, и врачи боролись за мою ненужную мне жизнь. За этот год воля к смерти, очень сильная вначале, успела во мне погаснуть. Ее заменила ненависть к гипсу, желание уничтожить уже не себя, а гипс. Потом стал появляться, вспыхивая и опять пропадая, интерес к законному миру. Он был доступен вначале лишь боковому зрению, но чувствовалось, что он велик и прекрасен. Потом, когда мне освободили шейные позвонки и я уже могла

поворачивать голову, законный мир открылся во всю ширину и оказался в самом деле велик и прекрасен. Там шевелились ветки, падал дождь, гуляли голуби. Все это было свежо и ярко, много ярче, чем и обычной жизни. Я, например, никогда не видела таких синих голубей. В дальнейшем эта яркость слегка померкла, но в какой-то мере сохранилась и до сих пор. Иногда меня поражает, скажем, яркость дождя.

Итак, я уже могла поворачивать голову. Теперь я уже хотела поправиться, если это возможно. Оказалось, что это возможно. В один прекрасный, насквозь солнечный день сплошной гипс заменили на облегченный, ликующе-легкий, почти невесомый. В этот день я брталась с мухами, невесомо летавшими по солнечной палате. Прошло еще время, и вот я уже могла сидеть на койке, владеть руками, есть. Еда, скудная в те времена, занимала в жизни людей большое место, что трудно понять тем, кто не голодал. Принятие пищи превращалось почти в обряд. Я удивлялась, что с трепетом жду раздачи обеда, но трепет был. Шаркали шаги, гремела посуда, появлялась санитарка в разношенных тапочках, с янтарными голыми пятками, начиналась раздача. Я ела. Потом я спала — долго, запоем, как спят грудные.

Когда меня выписывали, оказалось, что подвижность рук частично утеряна, а это означало еще один конец — по профессии я пианистка. Впрочем, этот конец мало значил рядом с другими. Пожалуй, я не была по-настоящему талантлива. От таланта мне досталась только свирепая совесть, заставлявшая меня без конца